

Владимир Нечаев

Человек с фотоаппаратом

*Маленькая повесть**

В холмах

Пусть будет, как он задумал. Потом что-то неизбежно вмешается, но есть замысел, идея, которая держит. В конце концов, это оправдание: я не был пуст, воля автора и прочее.

Ну ладно, поздняя весна. Холмы. Бурая трава. Кое-где ещё лежит снег. Свет контровой. Лошади на дальнем плане. Объектив, конечно, широкоугольный, тут важны пространство, размах. Но главное — не опоздать, не забыть какой-нибудь мелочи, потом ведь изматеришься...

И Буслаев садился в рейсовый автобус, погружённый в своё, механически расплачивался с водителем и не мог справиться с беспокойством. Вечера в конце мая длинные, но солнце ждать не станет. Облако набежит, тени лягут — и пропала съёмка!

Он прикидывал тяжесть кофра, расстояние от шоссе до холмов и как он достанет камеру, подберёт оптику, навернёт оранжевый фильтр, а потом будет искать точку, откуда будет снимать, ту единственную точку, которая и станет оправданием местности, оказавшейся в кадре, единственным её смыслом. И он, человек с фотоаппаратом, которому позволено будет взглянуть и довериться, поверить и полюбить — потому как разве можно любить, если взор не охватывает, когда нет человеческого помышления?..

Он подошёл к дому, нажал кнопку звонка у двери. Открыл крепкий старик с коротко остриженной седой бородой, в переднике и в каком-то нелепом вязаном колпаке. Поздоровались. Буслаев объяснил, что хотел бы сделать серию фотографий на той стороне распадка, а времени мало, солнце уходит, и можно ли переобуться, оставить свою городскую обувь здесь и переночевать, если он застрянет.

— Без проблем, — кивнул хозяин и, помедлив, спросил: — А что, Мария тебя не узнала в последний твой приезд?

— Нет.

— Я ей сказал, кто приезжал.

— Как Мария, держится?

Владимир Нечаев (1957) — родился на Камчатке. До призыва в армию окончил Владимирский политехнический институт по специальности «радиотехника». После службы на Урале вернулся на родину, где и работает по настоящее время. Автор лирических сборников «Золотые звери», «Россия, с печалью...», «Утешитель». В 2008 году вышла книга прозы «Исследование дома». Публиковался в журналах «Москва», «Октябрь», «Урал», «Дальний Восток», в региональных сборниках. Состоит в творческих Союзах писателей и фотохудожников России.

* Печатается в сокращении.

— Плохо. Не будет толку. Четвёртый инсульт. Родственники её не пускают, говорят, живите в городе. Я им сказал, что там умру. Мне лучше здесь.

Старику хотелось поговорить, излить душу. Старик не спешил.

— Козлят сфотографируй.

И Буслаев согласился: хорошо, Алексеич, ладно, сфотографирую козлят, а сам подумал, что плёнка хорошая и может не хватить на холмы и на лошадей в контровом свете. Пожалел, конечно, плёнку, но шёл за стариком в дом, к закуту, где жались три новорожденных козлёнка, доставал камеру, менял оптику, вставал на табурет, потому что нужна была высокая точка съёмки, включал вспышку, хотя вспышку не любил. Но свет в мутных окнах уже кончался, и надо было как-то выкручиваться.

— Ну вот, — сказал Буслаев, старательно сделав три снимка. — Я пойду, солнце заходит.

Вернулся он через час, так ничего и не выйдя. Он даже не открыл кофр, потому что фотографировать было нечего. В низинах лежал грязный снег. И лошадей пастись не выгнали. Буслаев просто потерялся среди бездумного ландшафта. Просветлённая оптика ослепла. Не помог и оранжевый фильтр. Дух места ушёл. Это сразу понимаешь, не нужно ноги топтать. И трава оказалась ему какой-то особенно поплёкшей и невыносимо прошлогодней...

— Всё одно у меня ночуешь, — суетился старик. — Ты моих козлов запечатлей! Я их кастрировал, а посмотри, как вымахали!

«Козлы так козлы», — думал Буслаев, накручивая светосильный «портретник», и шёл к козлам.

Козлы были рослы и пугливы. Они с любопытством приглядывались, а потом отбегали. Было что-то неуловимо непрочное в повороте и посадке их голов. Подхватывались, когда он приближался. А он оставлял свою камеру и всё пытался заглянуть в бездонную щель козлиного зрачка и удивлялся лёгкому янтарному цвету глазного яблока. Они были древние, эти животные: мы всё видели, всё знаем, всех переживём. Смотрели с лёгкой усмешкой, как он пытается их приманить.

— Послушай, Алексеич, — сказал он, — я схожу в магазин, возьму чекушку. Будет холодно.

— А куда же ты пойдешь? — хмурился хозяин.

— Да через дорогу.

— Нет там, и надо тебе это?

— Можно и без этого, — соглашался Буслаев, понимая, что старик зашивается, и какая тут водка, когда скоро ночь, а нужно кормить живность и недоены козы.

Он чистил картошку, собирал ужин, слушал бляенье коз в долгих весенних сумерках. Кавказская овчарка срывалась в лай, потом затихала, гремела цепью. И он слышал монотонную воркотню старика, когда за тяжёлой крестьянской работой особенно не задумываешься о смысле и предназначении, а просто доишь, кормишь, режешь на мясо, выхаживаешь новорожденных — привычно, как привычен поворот небесного колеса.

Сели за стол уже поздно. Ели без особых разговоров. Хозяин горестно жаловался на одиночество. Ему бы женщину в дом, чтобы прибраться, борщ сварить, — и нет ли у Буслаева знакомой в городе? Он с молодой набаловался. Ещё и ребёнка мог бы сделать. А с Марией детей не нажили...

— Надо подумать, — сочувственно кивал Буслаев.

Они пили чай, когда старик встал и прильнул к окну:

— Кто-то плачет. Ты не слышишь?

Они напряжённо замолчали. За дверью, в пристройке, где был закут, слышался надрывистый крик.

— Это козлёнок, — забеспокоился хозяин. Он вышел и позвал Буслаева:

— Помоги!

Они внесли козлёнка в комнату, уложили на диван.

Козлёнок хрипел, ему не хватало воздуха. Он пытался встать, падал на передние ножки и заваливался на бок. Он кричал, просил помочь суетящихся рядом людей и умолкал. Бока его тяжело ходили.

Они беспомощно смотрели на умирающего.

— Кончается... — сказал хозяин.

Козлёнок замолчал. И опали бока.

— Пусть здесь полежит. Отойдёт... Тёплый ещё. Вот теперь я бы выпил, за помин души!

«Легко сказал, весело, — думал Буслаев. — И это в привычку. Божья тварь увидела свет и умерла. И привычна пища рядом со смертью. Привычно любить женщину, от которой пахнет козами и травой. Только женщины нет. И белый козлёнок умер. А я плёнку пожалел... Пожалел и отнял».

Он поднялся, стараясь не глядеть на остывающего козлёнка, ставшего вещью.

— Алексеич, я, пожалуй, поеду. Доберусь как-нибудь. А за ужин спасибо.

Тот не удивился и не стал отговаривать. Дескать, решил, так решил.

И Буслаев споро собрался, подхватил кофр, пошагал с пригорка к дороге. И услышал уже в темени:

— Ты не говори им, что я старый. Я потом сам...

Буслаев видел прямоугольник света распахнутой двери и силуэт старика.

— Не скажу, — откликнулся он.

Человек с фотоаппаратом

Когда Буслаева спрашивали, зачем он фотографирует, он пожимал плечами или говорил, что хочет убежать от старости. Была ли это шутка — Буслаев и сам не понимал. Рассматривая в зеркале своё лицо, он обнаруживал признаки старения. Его это не очень волновало. Он чувствовал, что человеческая душа не изнашивается. Удачный фотоснимок и был для него тем зеркалом, в котором он наблюдал идеальность и неизменность души.

После того, как изображение проявлялось в кювете с фотореактивом, оно обособлялось от Буслаева и начинало жить своей тихой жизнью. Фотокарточка желтела, коробилась, истиралась на гнибах, и это лишний раз напоминало ему о недолговечности земных вещей.

Несла ли фотография след его «Я»? И о чём же он думал в эти минуты? Радовался ли? Страдал? Он искал печать авторства, как ищут на теле стигматы истово верующие, и не находил, хотя и узнавал с большой долей несогласия своё лицо на снимках, сделанных другими фотографами.

С фотоаппаратом в руках Буслаев по-иному смотрел на вещи, словно пытался выznать сущность, скрытую от праздного взгляда. На периферии зрения предметы оживали, но стоило взглянуть на них в упор — и они замирали. И тогда он позволял им выйти на границу кадра, обрести себя, оставляя лишь намёк на присутствие, полужест, тень, закрученный воздух минувшего движения. Буслаев это называл «дать право на тайну».

Пошлость в тайне не нуждалась. Огромная армия рекрутированных с фотокамерами всех систем добросовестно погребала ещё живой мир под глянцевыми картинками формата 10 на 15. Это были своего рода отчёты: я был там-то и тогда-то. На этих снимках мир был мёртв. И мёртвые люди улыбались в обнимку и поврозь, сидели за столами, пили и ели, являя недостаток и успех, прогуливали своих породистых детей, женщин и собак. «Последние свидетельства», — думал Буслаев. Он был совсем не против жанра «фото в альбом». Его раздражали бездумность, автоматизм процесса, которые он наблюдал на лицах.

— А теперь скажите «чи-из!» — говорили фотографирующие. И все были удовлетворены.

Фотоаппарат не позволял Буслаеву засиживаться.

И на этот раз он охотно принял предложение съездить в Октябрьское, на западное побережье. Он был там давно и без своего неизменного «Любителя».

Буслаев выехал рейсовым автобусом рано утром.

На перевале лежал снег. Но северное лето не ждало, и берёзы торопливо выпускали листья. Буслаев отмечал про себя сочетание зелёного и белого и думал о поспешности иных фотографирующих. Им кажется, что этот мираж через мгновение растает. А ведь для него нужно ещё найти место в душе...

За перевалом начиналась равнина, и глазу не за что было зацепиться. Дорога пылила. Солнце жгло. И пейзаж поблёк и выцвел. Где-то на краю равнины угадывалось море. Буслаев всматривался в сиреневое облачко на горизонте. Пассажир автобуса, он был только часть этого жёсткого пространства, где для времени не оставалось места — только скорость, скука и пыль.

Море открылось, как оно открывается всегда, неожиданно и в распах. Ветер гнал над морем сизый клочковатый туман. Ленивый прибой поднимал у берега мутную взвесь.

Дорога свернула влево и потянулась вдоль прибойной полосы.

Глядя туда, где клином сходились столбы ЛЭП, дорога и линия прибоья, Буслаев почувствовал тошноту. Он никогда не укачивался, и физиология здесь была ни при чём. Если у этой местности и был глаз, он был устремлён на Буслаева. Где, на какой небесной фотопластинке осталось его изображение в эту короткую долю секунды? Кратковременная дурнота прошла вместе со словом «неизбежность», которое Буслаев через мгновение забыл, — память стирает неудобные слова, — как забыл и сосущее чувство, которое он испытал.

Проходит лишь то, что не задевает сердца, — вошло в Буслаева и смутило.

Октябрьское было пустынно.

У магазина лежал человек с кровоподтёком на лице. Буслаев заставил себя подойти. Человек смотрел в небо и что-то бессвязно бормотал. Он смотрел сквозь Буслаева. Кислый запах давно не мытого тела и спиртного ударил Буслаеву в нос.

Он шёл устраиваться на ночлег и думал об этом пьяном, которого никто, наверное, не любил. Любовь ведь оберегает. Если, конечно, это любовь. Да и Буслаев в своем участии — разве с любовью он склонился над ним? Он узнал в себе ожесточение: гость, соглядатай, — что ты найдёшь здесь?

Он старательно всматривал нужный номер дома, проходил по Советской улице, мимо пятиэтажных коробок с чёрными глазницами домов, словно после бомбового удара, недостроенных и брошенных в эпоху обретения «независимости». Те, наверху, знали: стоит убрать скрепы, и начнётся очередной грабёж того, что так долго с кровью собиралось.

«Без мародёрства не обошлось, — думал Буслаев, — что это, если не война?»

Октябрьское сжалось до двух улиц.

Море словно проснулось вместе с творцами перестройки и забирало у земли метр за метром. Плоская коса, на которой стоял посёлок, в сущности и была тем песком, о котором говорилось в Евангелии: «И разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал». Лет через пятьдесят морская вода смешается с речной, текущей по другую сторону косы, и посёлок исчезнет вместе с последним человеком, хранившим знак причастности к героической эпохе — эмалевый пятиконечный образок с толстощёким мальчиком-Ильичом. Страна вряд ли заметит потерю. Останутся, в лучшем случае, цветные фотки в семейных альбомах детей здешних поселенцев да воспоминания: *они ловили рыбу*. А Буслаев ещё берёт чёрно-белые фотографии своих родителей. Вполне счастливых, судя по их лицам. Они тоже ловили рыбу. И они оставляли деревянные, продуваемые ветром бараки, бросали огородики с картошкой. И тоже переезжали в другие места. Тогда шло укрупнение посёлков. Да,

оставляли обжитое, но *во имя*. Человеку никак нельзя без идеи и веры. Иначе сдуется всё, как детский шарик.

Дверь в подъезде сиротливо висела на одной петле.

Буслаев поднимался по лестнице и стучал — ещё одна примета нового времени — в железную дверь частного владения. Ему открывали, ставили чайник, спрашивали о городской жизни, рассказывали последние новости и стелили постель. Он укладывался на ветхой раскладушке, проваливался в темноту сна и всё ещё ехал по пыльной дороге...

Сообщество фотографов на полуострове было разношёрстно. Одни работали профессионально, предлагая издателям привычный и накатанный ряд: роскошные виды северной природы, дикие звери в выгодных ракурсах, быт оленеводов, где экзотики больше, чем правды, и обязательные национальные праздники с бубнами, с расшитыми бисером кухлянками и древними старухами, курящими трубки. Остальные что-то искали без расчёта на большую выгоду, фотографировали недорогой техникой незаметно и неназойливо. Профессионалы относились к ним снисходительно. «Талант» и «успех» для «профи» были словами-синонимами. Бедны только дураки, — читалось в их глазах. Однако Буслаев, рассматривая фотографии успешных фотографов, не узнавал страны, в которой он жил.

Столичный фотограф Эдуард Мишин, с которым свел Буслаева случай, работал на зарубежные журналы и плёнки не жалел. За фотоснимки, где размахивали красными флагами, где проливалась кровь и лезли на баррикады, хорошо платили.

— Фотография должна заниматься своим делом, — поучал Мишин, — нарезать сюжеты, дифференцировать.

— Так ли? — сомневался Буслаев. Он считал — людей глубоко могут объединить не острый сюжет, не анекдот и не житейская история, пусть даже интересно рассказанные, но обобщение и потаённость.

— Конечно так! — категорично рубил Мишин.

— Россия не кричит с ножом в руке, как вы полагаете, — возражал Буслаев. — Она о своём думает. Надо в провинции пожить, чтобы понять это. Вас русским фотографом трудно назвать.

— Всё это слишком узко, — отмахивался Мишин.

— Ну да, как бы от кормушки не отлучили, — хмыкал Буслаев.

— Эдуард, он вам просто завидует, — вступал в разговор фотограф Эпштейн. Он был из местных. Когда-то Эпштейн сфотографировал Северный полюс с парашюта и при случае вспоминал эту историю. Он и теперь сразил столичного Мишина. Однако на Северном полюсе не было войны, наркоманов и сумасшедших, и разговор опять вернулся к России.

— Разве ты не видишь, это же Тайная Вечеря, — говорил Эпштейн Буслаеву. На снимке похожие друг на друга, как братья-близнецы, семь даунов пили чай за длинным столом. Над столом — икона Спасителя. Чуть выше — часы, показывающие без пяти двенадцать.

— Великолепно, великолепно! — вторил Эпштейну президент городского фотоклуба Югов. — Цвет, композиция — всё совершенно!

— Вечеря? — удивлялся Буслаев.

— Ну, о чём тогда с тобой говорить! — снисходительно ронял Эпштейн.

— Дауны-апостолы... — устало спорил Буслаев. — В какой стране вы живёте, в республике Конго?

— Мне неинтересно с вами разговаривать, вот с ним интересно. — Мишин кивал на Эпштейна. И раздражённо: — Вы слушать меня пришли!

— Пообщаться... — угрюмо замолкал Буслаев.

Он вспомнил этот разговор в Октябрьском, когда, встав рано утром, шёл по отливу к старым кораблям, выброшенным на берег штормом.

«Подрывники, хваткие, хлёсткие в ремесле, только какие-то однобокие, обрезанные в совести, что ли... по сути вечно воюющие, — думал Буслаев. — Ярость футбольных фанатов — промельк, кратковременность. История цивилизации остаётся в вещах. Страшно, грязно мы живём, это сказать не сложно. Но как выразить усилия человека остаться самим собой, как показать сопротивление материала в его руках и как этот материал сдаётся, уступает времени, а человеческое мерцает сквозь ржавь? Через двести лет фотография болезненной девочки из Грозного с упаковкой таблеток в руке будет уже непонятна. Разрушенный Парфенон понятен и через две тысячи лет. Срок жизни фотокарточки короток. Он почти равен сроку жизни человека. Мы ещё улыбаемся и плачем в кадре, а что будет здесь завтра? Да вот такое же безлюдье: ржавое железо, разбитые пирсы...»

И Буслаев фотографировал слепые иллюминаторы сейнеров, замкнутых водой и песком, бессильную тяжесть якорных цепей, брошенные дома, где волны в шторм обживают комнаты, оставляя, как подношение, человеческий мусор.

Взгляды встреченных им людей были обращены к морю. Буслаев видел возле ставных неводов рыбаков, ждущих подхода лосося, видел мальчишек, забрасывающих рваную сетку в воду. Он видел и парней, воровато, с оглядкой выбирающих на утлых резиновых лодках из чужой ячеи редкую рыбу. Делать фотолетпись об этом у Буслаева не лежала душа. Придёт журналист и снимет лучше. Потом придумает текст, и фотография заговорит. Будет очередная история про рунный ход и рыбацкое счастье.

Фотографии Буслаева молчали. Бессюжетные, где время было, да кончилось, они сами становились рамкой, окном, за стеклом которого уже ничего не было...

А в это лето рыба не подошла.

Она не подойдёт и на следующий год. Что-то сломалось в океанском механизме течений и температур. Удача повернёт к другим берегам. Рыбаки ещё не знают об этом. Не знает и Буслаев.

Вернувшись в пустую квартиру, он стоит, прижавшись виском к холодному оконному стеклу, и пытается вспомнить что-то очень важное. Он забыл, но сейчас он вспомнит. Ускользящее проходит сквозь него. Но вот уже и Буслаева здесь нет...

В автобусе, на выжженной солнцем дороге, он борется с тошнотой, подступающей к горлу.

За дождем и ветром

Ему часто снится один и тот же сон. Легковое авто, в котором он едет, поворачивает на перекрёстке. Машина бесконечно вытягивается и не вписывается в поворот. Машина длиной с улицу. Он понимает, что ему не повернуть. Застрянет на повороте. Так и происходит. Мимо него, словно бы он сторонний наблюдатель, проплывает блестящий чёрный борт машины. Здесь сон кончается.

В дальнем конце улицы, на краю сна, Буслаев видит дом, где его ждут. И просыпается с чувством сожаления. Пытаясь сон удержать, Буслаев обращает его в обрывки.

Долгий тёплый дождь туманит стёкла. Каждое лето они приезжают семьёй в гости к родителям жены.

Буслаев стоит у окна. За окном клубится огородная зелень. Под дождём, сквозь стекло картофельные кусты кажутся ещё зеленей. На краю огорода в дощатой пристройке к гаражу рядом с японской акацией — мастерская Аристарха Петровича, тестя Буслаева. Когда Аристарху Петровичу надоедает женская болтовня, он тяжело поднимается и уходит в свою мастерскую.

— Папа там пишет стихи, — говорит за спиной Буслаева жена. У неё особенное отношение к отцу. Всмотриваясь в зелёные волны огорода, Буслаев слышит стук молотка.

Он как-то зашёл в мастерскую наточить нож и увидел ряды банок на полках. В банках были ржавые гвозди. Аристарх Петрович вытаскивал гвозди из досок, а то и просто поднимал гвоздь на дороге и выпрямлял молотком. Как многие пожилые люди, пережившие трудное военное детство, Аристарх Петрович бережлив.

— Ещё пригодится, — говорит он. И если не пишет стихи, то выпрямляет старые, гнутые гвозди, сортирует по размеру и складывает в банки.

Виолетта Григорьевна, тёща Буслаева, к литературным занятиям своего мужа относится неодобрительно. Однажды она спрятала ключ от мастерской.

— Лучше делом займись! — сказала она Аристарху Петровичу. Может быть тогда он и стал собирать старые гвозди...

После смерти Аристарха Петровича в мастерскую редко кто заходит. Буслаев забежит за инструментом, посмотрит на банки с гвоздями, на истрёпанные общие тетради со стихами и выйдет.

Буслаев слышит, как стучит молоток. Все привыкли к этому звуку и не спрашивают, кто в мастерской, если хозяина не стало. В доме как-то спокойнее, когда из мастерской доносится стук молотка, а потом наступает долгая пауза, заполненная шелестом тетрадных листов. Страницы шелестят тихо, но живущим в доме кажется, что они слышат и этот звук. И опять неторопливое постукивание. Гнутый гвоздь можно долго выпрямлять, и всё равно гвоздь будет чуть крив.

Буслаев представляет, как Аристарх Петрович, отложив молоток, садится за свои тетради, черкает и правит. И здесь много работы.

Когда у Аристарха Петровича заболели ноги, он реже стал выходить из дома.

— Надо издать стихи, — сказал как-то Буслаев тестю. Аристарх Петрович заплакал.

Буслаев пошёл в управление райцентра и попросил денег на книгу. Ему пришлось показать свой членский билет Союза фотохудожников с фотографией и печатью. Это произвело впечатление. Билет был как аргумент.

— Песни вашего земляка поёт весь район, — с упрёком сказал Буслаев. И главе администрации нечего было возразить.

Деньги выделили к весне. Сборник стихов «Здесь мой дом» напечатали в городской типографии тиражом пятьдесят экземпляров. Аристарх Петрович готовился к презентации, волновался, подбирал рубашку и галстук. В магазине закупили ящик можжевеловой водки, а в Доме культуры поселковый хор разучивал романс «Клонится черёмуха» на стихи Аристарха Петровича, написанные специально к этому дню.

Аристарх Петрович разносил пригласительные открытки, когда у него отказала левая сторона. Инсульт — был диагноз поселкового фельдшера. И торжество отменили.

Аристарх Петрович поправлялся медленно.

Майским днём ему захотелось увидеть, как тает снег на сопках. Держась за стенку, Аристарх Петрович вышел во двор. У него кружилась голова. Виолетта Григорьевна заставила мужа вернуться в дом.

— Ты пользуешься моим добрым отношением к тебе, — выговаривала она Аристарху Петровичу. Аристарх Петрович сидел в кресле и молчал.

В июне дороги подсохли.

Когда Виолетта Григорьевна была на работе, Аристарх Петрович вывел из гаража велосипед. Он учил сына ездить на велосипеде, а теперь учился сам. Он крутил педали и распевал:

— Я Чапаем стать хочу, но боюсь лошадки: как я с шашкой поскачу на лошадке шаткой?

Аристарх Петрович упал с велосипеда там, где крутой склон у реки.

Он лежал, смотрел на холодную снеговую воду, текущую с гор, и думал о школе, об учениках, которые выросли и разъехались, и о своей старческой немощи. Лежал, пока не пришли Виолетта Григорьевна и трое крепких мужиков. Виолетта Григорьевна ругалась сквозь слёзы. Мужики подняли грузного Аристарха Петровича и понесли.

Велосипед Виолетта Григорьевна убрала на чердак. И Аристарх Петрович перестал выходить из дома. Он сидел в кресле у окна, смотрел, как меняется за окном цвет природы, как зеленое становится жёлтым, а следом приходит белое. Где-то там через двор, в мастерской, были его стихи и банки с гвоздями.

— Я хочу ходить, — говорил он жене. Виолетта Григорьевна в ответ гремела посудой.

— Хорошо бы отправить Аристарха Петровича на горячие источники, — предложил Буслаев. — Оттуда больные идут своими ногами.

— У меня хозяйство! — отрезала Виолетта Григорьевна. Предложения Буслаева она считала неудачными.

Весной Буслаев привёз маленькую шестимесячную дочь. Аристарх Петрович был оживлён и весел. В доме радовались, потому что отвыкли от его голоса.

— Руки-то мои, — говорил Аристарх Петрович, показывая на внучку. В молодости он занимался классической борьбой, выигрывал у мастеров и сам стал мастером. Но это было давно. А теперь Виолетта Григорьевна меняет памперсы мужу. Виолетта Григорьевна устала. И на памперсы уходит много денег.

В один из таких дней, поиграв с ребёнком, Аристарх Петрович уснул. А когда проснулся, заявил, что умрёт через неделю. Никто не придавал этому значения. Последнее время дед заговаривался. Его бессвязное пророчество вспомнили, услышав среди ночи звериный рык. Аристарх Петрович бредил и кричал. Буслаева послали за священником.

Отца Василия он нашёл в храме. Лики святых смотрели со стен, как бабюшка ладит собачьи нарты. Утром начиналась традиционная весенняя гонка. Отец Василий надеялся взять приз. У него были лучшие в районе ездовые собаки.

С первыми словами молитвы Аристарх Петрович притих, однако на близких смотрел враждебно. От исповеди он отказался, заявив, что грехов у него нет. И отец Василий ушёл огорчённый. Под утро Аристарх Петрович забылся во сне и умер.

На поминках пили можжевелевую, припасённую к презентации книги Аристарха Петровича. Женщины из поселкового хора негромко исполняли «Клонится черёмуха». Когда по вечерам Буслаев читал Псалтырь, в доме пахло ладаном...

Июльские дожди короткие и частые. От земли идёт пар. Дождевая вода к радости Виолетты Григорьевны доверху наполнила железные бочки во дворе. В доме больше не слышат стука молотка. Замок на двери мастерской заржавел. Его давно не открывали.

Буслаев смотрит в окно сквозь дождевые разводы. С верёвки забыли снять рубаху. Она надувается на ветру пузырьём, раскидывая в стороны рукава. Жена Буслаева рассказывает приснившийся накануне сон.

— У нашего дома останавливается чёрная машина. Из машины выходит папа. Я знаю, что он мёртв. И страха нет. Я подхожу к нему, хочу обнять. Папа отстраняет меня, садится в машину и уезжает... Он сказал, что мы никогда не любим его... — добавляет через паузу жена. Она расстроена. — Ты сходи в церковь, закажи панихиду.

Ветер путается в картофельных кустах. Буслаев молчит и смотрит, как рубаха рубахи опадают.

Он просит найти ключ от мастерской, идёт по тёмным мокрым доскам, брошенным на землю среди грядок, возится с замком. Открыв дверь, всматривается в зелёный полумрак. Скользнув пальцами по цветным корешкам толстых тетрадей, берёт с полки банку с гвоздями, ищет молоток.

Достав из банки гвоздь, укладывает на наковаленку. Гвоздь кривоват. Буслаев неумело постукивает молотком. Но вот он приноравливается. Удары молотка всё увереннее. Буслаев откладывает гвоздь, берёт следующий...

Сглаз

Порывистый ветер августа поднимал и нёс пух в ярком солнце.

Лето затухало, но ещё тянуло и тянуло на почти невидимых глазу переправах от берега, заросшего густой травой и кипреем, к другому берегу, где первые заморозки подбивают забывчивые стебли.

В такие утренники зелень напоминает кристаллы медного купороса. Химически чистый цвет живит кровь, а в воздухе разлито состояние недолгого праздника.

Но всё это будет потом. А сейчас Буслаев стоит в тени старого тополя и ловит видеоискателем зеркалки вспыхивающий на солнце пух. Здание, обитое с торца ржавыми листами оцинкованного железа, было хорошим фоном. И легкие семена кипрея, гонимые ветром, вспыхивали в контровом свете, медлили в затишье стены, позволяя человеку с фотоаппаратом нажать на спуск, а потом исчезали.

Это была неудачная охота.

Проявив плёнку, Буслаев уже собирался выбросить негативы в мусорное ведро, как оно часто бывает, если бы не остановил его внимание тот самый, обитый железом торец пятиэтажки. И деревце, случайно попавшее в кадр. Ярко освещённое на фоне непроглядной стены, оно выступало из тени. Деревце было почти сухим, с реденькой верхушкой. Поздним северным летом оно ещё выбрасывало чахлую листву и тянулось из последних сил.

Было на негативе нечто, не имеющее определения, не толкуемое и не переводимое, как не переводима на внятный язык кривизна шара, — намёк, подтекст, что, собственно, и отличает удачно сделанный снимок. Случайность удачи вносит в размеренную жизнь долю беспокойства, где ты — лишь звено, исполнитель. И Буслаев тщетно пытался прочесть скрытое.

Он сделал контрольный отпечаток, повертел фото в руках и отложил. «Нужно сходить, посмотреть ещё раз», — решил он. И по-легкому, с зеркалкой на плече прошёл знакомыми дворами.

Нам всегда кажется, что мы можем вернуться назад, в прежнее, в города, где мы жили когда-то, к знакомым местам и любимым женщинам, которые, верно, ещё помнят нас. И только фотограф знает, что вернуться нельзя. Не вернуться в то место ни через час, ни через минуту. Однако Буслаев уверил себя, что он на прогулке, он только посмотрит, в чём там дело. И отчего же слепой случай выложил ему удачный фотоснимок. Попытка реабилитации того, что мы называем разумностью смотрящего. Ну как же это я проглядел! — вот что подразумевалось.

Узвлённое самолюбие — плохой советчик. Ступив в знакомый двор, Буслаев смотрел на ржавый торец дома и не узнавал его. Той единственной приметы, которая придавала смысл удачной фотокарточке, не было. Не было деревца. И двор как двор. Таких дворов для мимо идущего — десятки. Можно и перепутать. Если ты не фотограф.

Он не спешил. Сняв камеру с плеча, открыл объектив и посмотрел в видеоискатель.

— Вот здесь ты стоял, — сказал он себе. — Кто же сомневается?!

Но, оторвавшись от видеоискателя, он опять оказывался в чужом, незнакомом ему месте. Эта раздвоенность лишь подтверждала, что он не ошибся. То самое место. Но и другое. Пропало сухое деревце. Можно уверить себя, что дерева не было, а на плёнке — мираж, призрак. Однако фотография с неизбежностью свидетельствовала: мир исчезает в каких-то главных своих сущностях, на место которых приходят муляжи, грубые подделки. Не было болевой точки, заставляющей почувствовать себя живым. Буслаев знал, что случится дальше.

Сделав десяток шагов, он не нашёл в увядшей траве ничего, что говорило бы о росшем здесь дереве.

«Очная ставка, — подумалось ему, — Кто же я, преступник или свидетель? Своего рода, сглаз, порча... Взгляд человека, вооружённого фотокамерой, — катализатор, ускоритель разложения... Помечаются грядущие надломы, просеки. Топор в руках неведомого лесника, делающего засечки на стволах: вот это срубить, и это, и это... родные, близкие, мужья, жены, дети. Забрать силу, здоровье, будущее... Обесточить, перевести стрелки. И состав гремит по другому пути. Невидимые глазу подмены происходят ежесекундно. Утрата чего-то важного. И те, кого мы поймали в кадр, иные... Другие лица, жёсткие глаза, фальшивые улыбки.

«Ты совсем не похож на этом фотоснимке, — можно услышать слишком часто. — И здесь ты другой...» Мы только и помним себя лучшими... Когда это было? Вчера? Или минуту назад? «Не все умрём, но все изменимся, — кажется, так у Апостола Павла? — во мгновение ока...» Заговор мирового зла? — всё страшнее и запутаннее. И выгода представляется добром, а глупость — значительностью. Пошлость остроумна и вызывает обвальный смех. Серость кажется яркой. Слепых прочат в поводыри. Воры — народные слуги. Грабители, убийцы — защитники и правоведы. Нужно только поправить кандидату узел галстука, сказать, что у него обаятельная улыбка, поверить в это и нажать на спуск фотокамеры. Образ героя готов. Потом кто-то вспомнит: «Он не оправдал наших надежд». Но ведь это мы аплодировали ему. А вот и следующий! Тот, прежний, конечно, мерзавец, а нынешний независим и прям. Ни тени лукавства! Не правда ли, он вам нравится? Один снимок, если позволите...

Кипрей поселяется на вырубках, там, где солнечно, где прежде горел лес. У кипрея высокие стебли. Пурпурно-розовые, заметные издали яркие соцветия. Когда-то считающийся среди лесников сорняком кипрей, безусловно, полезен. Отцветающий кипрей даёт обильные семена, которые только и ждут любого ветра. Для семян-переселенцев он всегда попутный. Мгновение они медлят с подветренной стороны, пока свежий порыв не подхватит их, взметая над крышами.

Запрокинув голову, можно увидеть высоко в небе белёсое мельтешение. Если, конечно, правильно встать и козырьком ладони прикрыть глаза от слепящего света.

Две реки

Далеко впереди шли дети с лёгкими иконками на древках, следом — военные матросы и офицеры с хоругвями в руках, и строгая чёрная форма была уместна и ладила с развевающимися на солнечном ветру чёрными одеяниями священников и голубыми ризами диаконов. Диаконы взмахивали кадилами и пели «Величаем, величаем...».

Святыню, Феодоровскую икону Божьей Матери, прибывшую из Костромы, несли на шестах священники из местных. И Буслаев видел, как прогибаются под тяжестью возложенные на плечи шесты.

За поющими диаконами шли архиепископ Евлогий, мэр города и нестройная, но довольно плотная колонна прихожан.

Крестный ход следовал по дороге от мужского монастыря вниз к центральной площади. Площадь гуляла, как гуляет воскресный люд, с музыкой, каруселями, пивом и что покрепче.

Идущие с хоругвями матросы, Лик Богородицы, дети с иконками, священнослужители и поющие прихожане не слились, но рассекли толпы гуляющих. Люди у обочин, а потом уже и на площади, там, где поднимался дым и пахло жареными шашлыками и попкорном, останавливались, оборачивались и с любопытством смотрели на колонну.

— Пусть им будет стыдно! — сказала Буслаеву рядом идущая женщина.

— Не будет, наверное, — отозвался Буслаев.

Он думал о тех, вне колонны, о том, что там, в своём веселье, всяк сам по себе. Воскресное веселье в народе всегда нагужное, с избытком, потому что неделю горбатишься, а значит, право имеешь. Как душа пожелает. Но кто-нибудь озаботился, что я вот на обочине, а они проходят мимо. И Буслаев думал о проценте верующих, который по статистике, и что процент не сходится: праздных на площади заведомо больше. А сам-то истинно православный? — скреблось у него внутри. — И всё же я здесь, крестным ходом иду, — успокаивал он себя.

В колонне было много фоторепортёров и просто любителей пощёлкать. Они приседали, забегали сноровисто и ушло вперёд, пятились, торопились выхватить «то самое». Похожие на роящихся пчёл, берущих с цветов свой взток, фотографы вносили в торжественный и размеренный ход что-то наносное и ненужное, противное самой природе шествия.

Буслаеву претило перебегать дорогу идущих людей. Он фотографировал с краю. И, едва не упав, он перестал суетиться и спокойно шёл, теперь уже вместе со всеми, радовался, как и все, редкому и, может быть, последнему тёплому дню сентября. Когда ещё удастся вот так пройти с русской святыней да под пение!

В высоко поднятом движущемся заднем стекле иконы отражались монахи, чёрный капюшон схимника, владыка и простой верующий люд. И Буслаев изредка вскидывал фотоаппарат и делал снимок.

На противоположном спуске к площади Буслаев увидел другую колонну. Молодые парни в красных футболках и под красными флагами чего-то ждали. Ускорив шаг, он поравнялся с иконой, прикрывая сбоку. «Мало ли что!» — беспокойно подумалось ему. Впрочем, Буслаев напрасно переживал. Красные флаги оказались алыми, а на футболках он увидел логотип торгового дома «Надежда». Молодёжь равнодушно смотрела на проходящих, а потом двинулась по команде вниз к площади.

Они так и текли, две реки, навстречу и мимо...

У новой церкви, срубленной из свежошкуранных брёвен, ещё пахнувших смолой, заканчивался молебен.

Буслаев стоял на окраине поляны, когда к нему подошёл Юрий Иванович Петлицкий.

— Не пойму я, архиепископ он или регент, — сказал Юрий Иванович.

— Вам не нравится, что владыка поёт? — спросил Буслаев.

— Мне не нравится, что сейчас нет дождя, — иронично сказал Петлицкий. — Не в этом дело, милый мой. Смотрю я на всё... Да пока молчу, — добавил он многозначительно. Лицо Петлицкого мученически пожелтело. Не так, не по вере, никуда не годится! — красноречиво говорил его взгляд. Здесь, на молебне, Петлицкий, судя по всему, и был агнец, истинный хранитель веры. Козлищ следовало бы — по Петлицкому — разогнать.

— Вы бы ещё штаны сняли, — сказал Петлицкий, подойдя к курящему в сторонке мужчине.

— Почему бы и нет? — индифферентно ответил мужчина.

Петлицкий вернулся к Буслаеву.

— Скоты, прости, Господи! — Юрий Иванович перекрестился. Лицо его пожелтело ещё больше.

— Вы преувеличиваете. Случайные, равнодушные люди, — сказал Буслаев.

— Равнодушных людей нет, — резко сказал Петлицкий. — Ну, не могу я со скотами рядом стоять!

Он отошёл в сторону. И Буслаеву показалось, что последняя реплика обращена и к нему. Буслаев проводил его взглядом и вспомнил, как в другое время, в другом месте Петлицкий говорил о своей тяжёлой болезни и хорошо, если Буслаев сподобится и сфотографирует его для портрета. На всякий случай. А Буслаев тянул. Боялся, как бы не сделать хуже...

Он вдруг увидел в окладе иконы лицо стоящей напротив маленькой девочки. Лицо отражалось в стекле. И Буслаева захватил этот образ. В фотоаппарате плёнка давно закончилась, а Буслаев ничего не взял в запас.

Он кружил по поляне с мыслью, что не успеет, спрашивал у знакомых и незнакомых фотографов лишнюю катушку плёнки. Однако фотографы давно перешли на «цифру». Они говорили о технологическом прорыве. Они снисходительно похлопывали Буслаева по плечу. Они все шагали в ногу со временем и владели ситуацией, а Буслаев не владел.

Диаконы вновь запели «Величаем...».

Святыню вносили в церковь.

И народ толпился у неширокого входа. Народ вскрикивал и нажимал, понимая, что войдут немногие.

Последний рубеж

Это была старая дорога.

Какое-то время он ещё различал в густой траве колею, а потом шёл наугад, подминая ногами высокие, в рост человека, стебли шеломайника, хрусткие после первых ночных холодов.

На южных склонах шеломайник был особенно высок. Но Буслаев видел сквозь верхушки серебристую воду лимана и шёл в надежде, что всё-таки он обогнёт лиман справа, благополучно минует городки военного гарнизона, и его не остановят окриком «Стой, кто идёт!», не заберут, не повяжут до выяснения. Увидев берёзу, Буслаев пробился к ней, сбросил надоевший рюкзак, расправил затёкшие плечи и неловко полез по стволу. И лиман открылся ему до самого устья.

«Ладно, — подумал он, — придётся возвращаться, топать обратно». На той стороне лимана он увидел строения. Пограничная часть жила своей размеренной жизнью. Из трубы кочегарки шёл дым.

Здесь было ещё много «живых» военных объектов. И многое было брошено и разворовано в 90-е, когда так неожиданно началось братание с Америкой, когда Ельцин объявил себя «другом Билла».

Он вернулся по своим же следам к брошенным казармам. До океана отсюда было совсем ничего, минут пятнадцать ходу. Но это называлось повторением пройденного. Путь он держал южнее. И не в привычке Буслаева было повторяться. Он проходил здесь в другое время и хорошо знал эту бухту. Вот только на самом берегу, где кончался песок и начиналась трава, стояла пара островерхих юкольников, свежих, с иголочки.

Юкольники были как настоящие, только очень уж походили на декорации провинциального театра. И щепы, и свежая стружка вокруг. Четыре идола чуть в стороне, корявыми ликами обращенные на запад, по замыслу, берегли это место от непрошенных гостей и должны были приносить удачу.

Солнце закатывалось и никак не хотело уходить за край сопки. Буслаев заставил себя распаковать рюкзак и сделать пару снимков.

Он не собирался оставаться здесь на ночь, неохотно признавая себе, что всё дело в языческом соседстве. И почти бежал по дороге в сопки, когда солнце совсем скрылось. Однако вспомнил, что дороги здесь никуда не ведут. И вернулся к идолам, тускло желтеющим в сумерках.

Буслаев поставил палатку, натаскал с приборной полосы плавника. Быстро разжёл костёр.

Он шёл от лимана с пластиковой канистрой воды, когда услышал звук мотора. Подойдя к своей стоянке, увидел мужчину и женщину. Женщина позировала, взобравшись по лестнице на верхний ярус юкольника, и смеялась. Мужчина колдовал с цифровой камерой.

Буслаев достал из кофра штатив, фотоаппарат и направился к юкольникам. Он совсем не хотел вторгаться в чужую жизнь. Но мужчина заговорил первым. Он был в военной куртке защитного цвета без погон.

— Фотографируете? — доверительно спросил он Буслаева.

— Да, вот только свет на исходе...

— В газету или как?

— Нет, для себя.

Женщина, вступив в разговор, что-то сказала, но Буслаев не расслышал и не стал переспрашивать. А мужчина словоохотливо объяснял, что юкольники поставлены для Лужкова. Был он здесь, прилетал на вертолётё со своей командой, водкой и шашлыками.

— Скучно Лужкову без экзотики, — сказал Буслаев. Он снял с плеча штатив. И разговор иссяк.

Мужчина и женщина, вежливо попрощавшись, шли к машине. «Тойота» разворачивалась, выхватывая светом фар тёмные кусты у дороги. И шум мотора затихал. Буслаев фотографировал угольные силуэты строений и брёл к лагерю почти на ощупь в предвкушении костра, горячего чая и стопки спирта на сон грядущий.

Буслаев любил время в безлюдье у огня, после неспешного ужина. Погасив фонарик, он смотрел на далёкое зарево города, на звёзды, пытаясь найти знакомые созвездия. И думал о том, что сполохи костра совсем не мешают свету звёзд, у них одна природа. А фонарик — удобство, но из другой жизни. Неожиданно пошёл сильный дождь.

— Откуда же натянуло? — взглядывал в чёрное небо Буслаев. Он убирал остатки ужина, подбрасывая толстые сучья в огонь и уходил в непрочное своё убежище. Слушал, беспокоясь за крепость швов, как дождь барабанит по тенту. Палатка была летняя, лёгкая и совсем не новая.

Тревога, шум дождя прогоняли сон, но спирт делал своё дело. И Буслаев быстро уснул.

Под утро сквозь дрему он услышал героическое «Вставай, проклятьем заклеймённый!». Собираясь в поездку, Буслаев забыл выложить мобильник из кармана. Теперь, чертыхаясь, он искал его в сером полумраке палатки. Включал и вслушивался, напрягая слух. Однако в телефоне были только треск и шум атмосферных разрядов.

Выглянув из палатки, Буслаев заторопился, ругая себя. Силуэты юкольников чётко прорисовывались в розовеющем небе. От дождя только и осталось пепельное облако, длинно и косо прочертившее розовое. А невидимое ещё солнце накаляло лиловую океанскую кромку.

Буслаев, забыв о завтраке, — в этой мокроте только провозишься! — фотографировал, не обращая внимания на быстро промокшие до колен брюки и обувь.

Отсняв почти полкатушки, когда солнце уже взошло и от юкольников потянулись жесткие тени, Буслаев увидел на краю высокого скалистого мыса большой деревянный крест. «Где-то должна быть тропа», — прикидывал он.

Тропу он нашёл быстро. И споро поднялся по склону, заросшему прибитой ветрами травой. Идолы и юкольники отсюда, с этой высоты, казались игрушечными.

Буслаев подошёл к кресту. Прислушиваясь к своему внутреннему и отстраняясь от фотографического азарта, он осенил себя троеперстием. И только после этого взвёл затвор фотоаппарата.

Океан выгибался гигантской рыбой. Блестящий на солнце, он распахивался, слепил глаза и уходил за горизонт, туда, где лежали заморские земли, где чужие цепко окидывали его край взглядом из-под руки, ошупывали лучами радаров, где расчехлялись боевые самолёты...

«Вот они, последние рубежи!» — думал Буслаев. Смотрел, щурился от солнца и крепкого ветра, хватал ртом густой солёный воздух.

Он подошёл к обрыву. Метров тридцать, определил на глаз.

Отлив обнажил камни. Они тянулись выступающей из воды грядой. Поверхность океана внизу казалась почти чёрной. Тяжёлая, маслянистая, подвижная масса воды была в движении. Белый гребешок волны закручивался далеко от берега. Волна катилась, и гребень разрастался, пенился. Теперь это был белый, кипящий фронт. Волна косо набегала на каменную гряду, образуя с диагональю камня букву «Л», разбивалась, обвивая камни. Буква исчезала. И всё повторялось сначала.

Буслаев фотографировал, стоя на самом краю, с крепким упором правой ноги в тонкий слой дёрна. Менял экспозицию, ловил сочетание белого гребня волны и чёрного камня, графитные силуэты быстро летящих бакланов и белых по чёрному, перекликающихся чаек, теперь уже редких — время птичьих базаров прошло. Фотографировал и ждал, когда заблокирует затвор.

— Бог поругаем не бывает! — повторял Буслаев, оглядываясь на крест. А плёнка всё не кончалась.

Присев и спрятав камеру под курткой, он приоткрыл заднюю крышку, просунул палец в щель. Плёнки в фотоаппарате не было.

Он ошарашенно вытащил его на свет. И не мог поверить, что со вчерашнего дня счётчик исправно отсчитывал кадры незаряженного фотоаппарата.

Он вернулся к оставленному у креста кофру, достал новую катушку плёнки, медленно зарядил камеру, чувствуя неприятную слабость в руках.

И опять на краю обрыва Буслаев взводил затвор и ловил свою букву. Он устал, но упрямо решил доснять всю катушку, когда услышал за спиной детские голоса.

Обернувшись, он увидел двух мальчиков лет четырнадцати. Один из них, преодолевая страх, пытался заглянуть в пропасть под ногами. Второй боязливо отговаривал, не решаясь подойти близко.

Буслаев кивнул им, давая отдых рукам, и опять поднял камеру. Он забыл про мальчишек и увидел их уже внизу. Они восторженно кричали, когда подходила особенно большая волна. А Буслаев торопливо снимал в надежде, что они немного побудут там, на камнях.

Но подростки уже уходили.

Буслаев чуть наклонился вперёд, чтобы успеть сделать ещё один снимок. И, секунду спустя, потеряв опору под правой ногой, он скользил на спине, вжимаясь в землю, которая не хотела его держать. Он пытался ухватиться руками за стебли на крутом склоне, а потом, обдирая кожу на ладонях, и за выступы камней. Он понимал, что падает. И слышал детский крик внизу. Может быть, это он кричал? Воздух закручивался под ним, и белый гребень набегал на скалу и обнимал её.

— ... не бывает, — одними губами ещё успел сказать Буслаев, чувствуя под горячей ладонью плотное перо крыла. И воздух тонко пел в оперении...

Он шёл по коридору, а коридор никак не кончался. Он открывал двери, заглядывал и шёл дальше. Кто-то выходил из дверей, а другие входили и, плотно

прикрыв дверь за собой, больше не показывались. Он узнавал тех, кого давно похоронил. И они кивали ему и шли дальше, а другие были ему незнакомы.

Но что же он ищет? Упорно и так долго. С чем можно сравнить искомое? И как оно произносится?

Открыв одну из дверей, он увидел за столом человека в камуфляжной куртке. Может быть, человек скажет ему?

— Здесь нет смерти, — сказал человек. — Разве ты не знаешь?

— Что же мне делать? — спросил Буслаев.

— Вот, возьми это, — сказал человек в камуфляжной куртке.

И Буслаев повернулся и вышел.

Он лежал на песке.

«Откуда здесь песок?» — думал он. Над ним пролетела птица. Он видел только быструю тень, скользнувшую по лицу.

Он крепко спал, а теперь проснулся. Отёр рукой щеку: слюна во сне побежала из уголка рта, и пристали песчинки.

Он почувствовал, что правая рука его что-то сжимает. Разжав кулак, он увидел на ладони увеличительное стекло. Он закрыл глаза, вспоминая себя прежнего. Но того Буслаева, которого он знал, больше не было, ибо прежнее прошло.

Перевернувшись на спину и раскинув руки, он смотрел в глубокое небо, где остался его сон. Он держал спиной землю, а небо было далеко-далеко внизу, прозрачное в окраинной дымке приборя, почти чёрное на самом дне синевы.

Он слышал далёкий разговор и смех. Материнский голос называл его имя.

— Я здесь, матери, — прошептал он. Ему хотелось ещё немного побыть одному, *ненайденным*.

Подняв с песка выбеленную морем палочку, он, как когда-то в детстве, собрал линзой свет и повёл горячее солнце.